

В. П.
АВЕНАРИУС

ГОГОЛЬ-СТУДЕНТ



Ученические годы Гоголя

Василий Авенариус

Гоголь-студент

«Public Domain»

1898

Авенариус В. П.

Гоголь-студент / В. П. Авенариус — «Public Domain»,
1898 — (Ученические годы Гоголя)

«Он катил домой на вакации – уже не гимназистом, как бывало до сих пор, а студентом, хотя в той же все нежинской „гимназии высших наук“, то есть с трехлетним, в заключение, университетским курсом. Снова раскинулась перед ним родная украинская степь, на всем неоглядном пространстве серебристого ковыля она так и пестрела полевыми цветами всех красок и оттенков, так и обдавала его их смешанным ароматом, так и трепетала перед глазами, звенела в ушах взвивающимися по сторонам коляски кузнечиками – бирюзовыми, серыми и алыми...»

© Авенариус В. П., 1898

© Public Domain, 1898

Содержание

Несколько слов вместо предисловия о значении биографических повестей	5
Глава первая	6
Глава вторая	11
Глава третья	17
Глава четвертая	22
Глава пятая	28
Глава шестая	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Василий Петрович Авенариус

Гоголь-студент

Биографическая повесть

Несколько слов вместо предисловия о значении биографических повестей

Зачем писать биографии великих людей в беллетристической форме, которая не может не возбуждать сомнений в достоверности рассказанного? Не мог же, в самом деле, автор узнать во всей подробности чуть не изо дня в день жизнь действующих в его рассказе лиц, записать их разговоры, происходившие тогда, когда и самого-то его еще на свете не было?

Такой вопрос, который иной раз случается слышать, основан на явном недоразумении. Ведь что такой, в сущности, те «подлинные» разговоры, которые мы встречаем не только в разных письменных «воспоминаниях», но и в «настоящих» биографиях? Слово не воробей: вылетит – не поймает. Фонограф до сих пор не служил еще для увековечения «подлинных» слов знаменитых людей, стенография применяется пока только в парламентах и судах. Мыслимо ли поэтому, чтобы даже самый добросовестный биограф все, что он лично слышал, мог передать потом дословно? Заботится он, конечно, лишь о том, чтобы сохранить общий смысл слышанного и наиболее характерные фразы и выражения. Беллетрист-биограф же связывает между собою все эти «достоверные» разговоры, все отрывочные, крупные и мелкие события из жизни описываемого им лица, иногда мимолетные лишь, но драгоценные для психолога-художника штрихи и намеки и, читая, так сказать, между строк и недосказанное, то, что, может быть, и не было, но *могло быть*, вдыхает жизнь в мертвый материал. Так как все существенное при этом, возможно, согласуется с действительностью и вымысел подчиняется правде, то в таком «вымышленном» рассказе, проникнутом одушевлением и живым сочувствием рассказчика к описываемому лицу, лицо это является читателю гораздо ярче, цельнее, да, пожалуй, и вернее, чем в «достоверном», но сухом изложении ученого биографа. Самое же крупное преимущество биографической повести перед биографией для молодых читателей, бесспорно, в том, что для огромного большинства их повествовательная форма несравненно доступнее и без нее очень многим из них осталась бы навсегда неизвестною жизнь тех или других великих людей, с которою ознакомиться должно быть желательно всякому образованному человеку.

В. А.

С.-Петербург, сентябрь, 1897.

Глава первая Плющ и дубок

Он катил домой на вакации – уже не гимназистом, как бывало до сих пор, а студентом, хотя в той же все нежинской «гимназии высших наук», то есть с трехлетним, в заключение, университетским курсом.

Снова раскинулась перед ним родная украинская степь, на всем неоглядном пространстве серебристого ковыля она так и пестрела полевыми цветами всех красок и оттенков, так и обдавала его их смешанным ароматом, так и трепетала перед глазами, звенела в ушах взвивающимися по сторонам коляски кузнечиками – бирюзовыми, серыми и алыми.

Снова вырос перед ним родной хутор с белою церковью, с приветливо манящими из-за кудрявой зелени красными кровлями и белыми трубами, замелькала новая ограда, раскрылся широкий двор, в который из-за окружающих построек отовсюду врывается зеленое царство; снова Дорогой и Сюська как шальные несутся к нему навстречу с бешеным лаем, и первый из них – датский дог – норовит лизнуть его в губы, а на крылечке, еще более покосившемся, ждут его, как бывало, маменька, сестрички, старушка-няня...

Все то же – да не то. И степь, и хутор, и близкие ему существа на крыльце – все подернуто какою-то серою дымкой, словно наступило солнечное затмение. Да, солнце их затмилось – и навсегда.

Мать рада, понятно, возвратившемуся сыну, очень рада. Но радость эта не бодрая и ясная, как прежде, а нервная, истерическая, затуманенная горячими слезами.

– Миленький ты мой, бесценный, единственный! Нет его уже, нет кормильца! Что-то станет с нами?

– Надо покориться, маменька: воля Божья. Вы только не волнуйтесь так ужасно: на вас лица нет, глаза распухли...

– Диво еще, родимый, что вконец их не выплакала! На нем ведь весь дом держался. А теперь в семье ни единого мужчины...

– Вы забываете меня, маменька.

– Тебя, Никоша?! У тебя, голубчик, и борода-то едва пробивается.

– Дело не в бороде, маменька, а в зрелости. Мне в марте семнадцатый уже год пошел, я – студент и могу, надеюсь, помочь вам тоже кое-какими добрыми советами в хозяйстве.

– А уж как-то мне их нужно, ой как нужно! При папеньке я ни во что не входила. Они с приказчиком все без меня решали. А теперь изволь-ка самой решать. Ведь на Левка-то положиться, сам знаешь, каково: себе на уме, плут изрядный.

– Так вы бы его сменили.

– А коли другой попадетя того хуже? Этот-то хоть хозяйство все по пальцам знает.

– Так я с ним серьезно поговорю.

– Поговори, милый, поговори. После папеньки ты у нас все-таки глава дома. Ох-ох-ох, Василий Афанасьевич! На что ты нас, сирот, покинул...

– Ну, полноте, голубочко матусенька, не плачьте!

– Не могу, родной мой. В слезах мне одна отрада, особливо на его могиле. И тебе, Николенька, надо будет уж помолиться над прахом незабвенного родителя.

– Непременно. Сейчас, как только переоденусь с дороги.

– Иди, миленький, иди. А я тем часом распоряжусь на кухне, чтобы прежде накормить тебя.

И вот он переодет, накормлен и рядом с матерью преклонил колени над отцовскою могилой. Погребен покойный в фамильном склепе около самой церкви. Но над местом его вечного

упокоения цветут уже алые розы, небесно-голубые незабудки, а верная ему до гроба спутница жизни окропляет и розы и незабудки неутешными вдовыми слезами.

– Ох, мамо, мамо! Вы просто изведете себя, – говорил сын, украдкой сам утирая себе глаза. – Присядьте-ка тут и расскажите, как вы узнали о его смерти? Это немножко хоть облегчит вам наболевшее сердце.

– Как узнала? – всхлипнула Марья Ивановна, послушно опускаясь на край могилы. – Ах ты, хороший мой! Было то на второй неделе после того, как дал Бог нам еще дочку, а тебе сестричку. Я все поджидала папеньку: не вернется ли скорее, чтоб при себе окрестить малютку. Ан заместо него приезжает вдруг госпожа Голованева, жена доктора, что лечил его в Лубнах: очень-де желательно больному меня видеть. Меня так и сразило: «Ну, значит, ему гораздо хуже, коли вызывает меня к себе еще больную».

– И вы, больная, собрались?

– А то как же? Вместе с Голованевой; но лишь только мы за ворота, глядь, навстречу верховой. Что такое? «Да вот письмо докторше». Взяла та письмо, развернула – вся так и вспыхнула. «Воротимся, – говорит. – Василий Афанасьевич сам скоро будет». Господи помилуй! Что случилось тут со мною...

Голос несчастной вдовы оборвался.

– И потом привезли его тело?

– Привезли... прямо к церкви... Раздался удар колокола... Никогда не забуду этого ужасного звука!.. Хоронить его можно было только на пятый день, так как многое не было еще готово, и до времени его оставили в экипаже. Меня же к нему не пускали, пока не внесли гроб в церковь. Когда я увидела его тут, моего сердечного, в открытом гробу, я точно обезумела. Тетушка Анна Матвеевна, которая, дай Бог ей здоровья, шесть недель ни шагу от меня не отходила, рассказывала мне потом, что я стала громко говорить с покойником, будто с живым, и сама же себе за него отвечала. А когда меня наконец вразумили, что он умер, я стала умолять похоронить меня рядом с ним в склепе.

– Бедная вы!

– Ах, да, совсем, говорю, в уме помешалась. С трудом урезонила меня тетушка – беречь себя для детей. Но нервы мои были до того расстроены, что даже девочек, сестриц твоих, не пускали ко мне. Показали мне их уже много дней спустя, в трауре. Когда я потом вышла в первый раз в сад, мне так странно было, что все-то на своем месте: мне серьезно думалось, что с ним, главой семьи, и все должно погибнуть. Все осталось по-прежнему, но все заботы его обрушились теперь на меня. Он был как дуб, а я как плющ, который льнул к нему и им одним держался. Рухнул дуб – и нет у плюща опоры...

– Я, маменька, еще не крепкий дуб, я – дубок. Но и тот может служить плющу некоторой опорой. В деревенском хозяйстве я мало еще сведущ, но я нарочно взял с собой из нежинской казенной библиотеки пару книг по этой части. Я буду трудиться для вас в поте лица и постараюсь полюбить хозяйство; если человек любит свое дело, то он в нем непременно успеет...

– А при твоих способностях и подавно! – подхватила Марья Ивановна, и в затуманенном взоре ее блеснул луч надежды. – Ты ведь и теперь-то у меня поэт и художник. В последнем письме своем, Никоша, ты обещался порадовать меня опять какими-то новыми работами...

– Да, кое-что у меня для вас есть. Вас это, может быть, немножко хоть рассеет.

Говоря так, он бережно взял мать под руку и повел вон с кладбища. Во дворе у крыльца они наткнулись на маленькую резвую ватагу: впереди старшая дочь дома, тринадцатилетняя Машенька, с торжествующим видом несла в переднике целое гнездо новорожденных котят, за нее цеплялись остальные сестрицы, наперерыв заглядывая к ней в передник, а сзади бежал вприпрыжку конвой из босоногих дворовых девчонок. Единственным удрученным существом во всей компании была большая серая кошка, которая, растерянно распутив хвост, с жалобным мяуканьем увивалась около похитительницы ее бесценных крошек.

– Ах, маменька, Никоша! Что у нас за чудные кошечки! – расхвастались девочки в один голос.

– Дети как дети! – грустно улыбнулась Марья Ивановна. – Посмотри-ка, Никоша, кошечки в самом деле прехорошенькие.

– Но и префальшивые, бестии! – презрительно отозвался Никоша.

– Они-то фальшивые? – обиделась за своих кошечек Машенька. – Они, душечки, прене-
винные, ничего еще даже не смыслят.

– Тем хуже: нельзя с них пока, значит, и взыскивать. Ну, пропустите-ка нас.

– А вы куда?

– Никоша вот хочет показать мне свои новые работы, – объяснила Марья Ивановна.

– Никоша, голубчик! Возьми и нас с собою.

– Пожалуй, – снизошел брат. – Только без ваших глупых кошек. Ну их!

– Да куда же мы их денем? Погодите минуточку! Между девочками началось спешное совещание: как им быть? В заключение решено было доверить котят попечению и ответственности старшей из дворовых девчонок Гале.

– А я тоже останусь с Галей! – объявила четырехлетняя Олечка, которой слишком больно было расстаться с дорогими зверьками.

Брат только плечом повел. Первая работа, которую предъявил он матери и старшим сестрам, была писанная на холсте клеевыми красками картина в один аршин шириною и в полтора вышиною. На красноватом фоне изображен был пруд, окруженный высокими деревьями, а над прудом беседка с готическими решетчатыми окнами. Новое произведение молодого живописца было настолько совершеннее прежних, что вызвало общее чистосердечное восхищение.

– Это копия или прямо с натуры? – осведомилась Марья Ивановна.

– Помаленьку и того и другого, а больше из собственной головы, – был самодовольный ответ. – Работа сборная, эклектическая, как выражаются художники, но требует тем большего соображения.

Девочки с благоговением слушали объяснения брата-студента.

– С натуры, верно, это окна с решетками? – позволила себе заметить Анненька. – Точь-
в-точь ведь как у башенок нашего старого дома!

– Да, они вышли очень недурно. Но лучше всего все-таки вот это сухое дерево среди других цветущих: оно – центр пейзажа и своего рода аллегория.

– Аллегория? – переспросила Марья Ивановна. – Что же оно обозначает?

– Здоровые деревья – это мои школьные товарищи, сухое – я сам.

– Ну, ну, ну, сделай милость, не глазь! Здоровьем ты хоть и не слишком крепок, но умом хоть кого за пояс заткнешь.

– Так картина вам не нравится, маменька? А жаль: я хотел было повесить ее над вашим письменным столом, вместо своего портрета, чтобы, глядя на это сухое дерево, вы вспоминали иногда о вашем сыне.

– Очень даже нравится! Давай ее, давай сюда. Я перед всеми соседями буду хвалиться твоим искусством. Только прошу тебя, Никоша, не упоминай больше об аллегории.

– Можно и без аллегории, – сдался Никоша и, открыв лежавший под столом чемодан, достал оттуда тетрадь.

– А это что же у тебя? Не стихи ли, про которые ты писал уже мне?

– Стихи и самые свеженькие: никому еще в Нежине не показывал. Прочешь?

– Пожалуйста, дорогой мой. Ты у меня, право, искусник на все руки.

В это время снизу, из сеней, донесся раздирательный детский визг и рев.

– Ах, опять Олечка! Верно, ее кошки оцарапали... – всполошилась Марья Ивановна. – Прости, Николенька...

И она скрылась уже за дверью. Сын с сердцем захлопнул свою стихотворную тетрадь.

– Вот вам и ваши милые, невинные кошечки!

– А нам одним ты, значит, не прочтешь? – робко спросила одна из сестриц.

– Значит. Для вас у меня тут найдется кое-что поинтереснее.

Из того же чемодана появились нежинские гостинцы: медовые пряники, леденцы да орехи. Это, точно, было куда интереснее.

– А вот и для Олечки. Сами только не скушайте по дороге.

– Ах нет, как можно!

И, совершенно довольные, девочки ускакали, забыв и про брата, и про его стихи. Напрасно, однако, ожидал он, что маменька-то хоть вспомнит об его стихах. И прежде склонная к мечтательности, Марья Ивановна со смертью мужа проводила ежедневно целые часы в молитве и в печальных размышлениях о своей вдовьей доле, забывая даже о насущных нуждах домашнего хозяйства. Стемнело, а она все еще не выходила из своих комнат.

«Гора не подошла к Магомету, так Магомет подошел к горе», – решил молодой поэт и, сунув в карман свою тетрадку, отправился к матери.

Застал он ее сидящую перед выдвинутым ящиком комода с пачкой старых писем на коленях. При слабом свете нагоревшей сальной свечи она перечитывала одно из этих писем и была так погружена в чтение, что не заметила даже приближения сына, пока он щипцами не снял со свечи нагара. Марья Ивановна испуганно вздрогнула и подняла к нему глаза, полные слез.

– Ах, это ты, Никоша?

– Я, маменька. Вы чьи это письма перечитываете?

– А нашего дорогого покойника, когда он был еще женихом. В них теперь, могу сказать, моя единственная улада. Я переживаю в них мое счастливое прошлое...

– Но ведь, когда они писались, вы были еще полувзрослой?

– Да, мне не исполнилось еще и четырнадцати лет. Втайне я его хоть тоже любила, но сама не смела даже распечатывать его писем.

– Но как это он, жених, писал вам на такой неважной бумаге!

– В те времена, милый мой, не было еще и в помине нынешних белых да розовых листочков с кружевным ободочком. Как бумага, так и чувства были тогда проще, а по-моему, и лучше, натуральней.

– Не дадите ли вы мне, маменька, прочесть эти письма?

– Никому еще, родной мой, с тех самых пор я их не показывала. Пока нас с ним не повенчали, я хранила их у себя на груди, как святыню моего девичьего сердца.

– Тем священной они и для меня, вашего сына! Всякая строка его для меня дорога. Право, маменька, дайте хоть заглянуть!

– Ты выбрал, Никоша, такую минуту, когда у меня не может быть тебе отказа. Только без комментариев тебе, пожалуй, всего не понять. Вот хоть бы это первое его письмо. Дедушка твой, а мой отец, не сейчас склонился на предложение молодого соседа, потому что я была еще даже в коротком платье. И вот он, необъявленный жених мой, предложил мне временно вместо любви дружбу. Теперь читай.

И сын прочел следующие строки, написанные на грубой синей бумаге столь знакомою ему рукою покойного отца:

«Единственный друг! Итак, я, полагаясь на ваши уверения, осмеливаюсь назвать вас другом, а более чувствую удовольствие, что вы, свято почитая добродетель, чувствуете цену такой дружбы... Теперь мне одно утешение в скуке – только к вам писать, а видаться с вами не скоро буду. Мои родители едут к вам, а я остаюсь дома с гостями, а потом всюду с унылым сердцем по делам из дому. Одно мне осталось облегчение – видеть хоть в одной строке действие души вашей. Не лишите меня сего счастья уведомить о вашем здоровье: оно составляет мою жизнь и благополучие. Прощайте.

Ваш вечно верный друг Василий».

За этим первым письмом молодой Гоголь перечел одно за другим и остальные письма жениха к невесте, которые Марья Ивановна со своей стороны точно так же объясняла. Для постороннего читателя эта переписка не представляла бы никакого существенного интереса. Для сына каждая фраза звучала чем-то родным и милым, словно она сейчас только вылилась из-под пера отца.

– Теперь я понимаю, что вы другим не даете этих писем, – сказал он. – Романтизм нынче не в аванже, и многие возвышенные обороты, употребленные здесь просто от полноты сердца, в настоящее время могут показаться деланными, ненатуральными.

– Но у него все это было вполне натурально! – горячо возразила вдова романтика.

– Да разве я сомневаюсь? Избави меня Бог! Но что бы вы сами сказали про роман, где стояло бы следующее: «Милая Машенька! Многие препятствия лишили меня счастья сей день быть у вас! Слабость моего здоровья наводит страшное воображение, и лютое отчаяние терзает мое сердце». Вы сказали бы, что в обыкновенной жизни так не выражаются, что автор хватил через край. А я, сын покойного, как и вы, вдова его, могу только поцеловать эти милые строки.

И он благоговейно поднес к губам листок с прочтенными строками.

– Славный ты мой! Единственное утешение мое! – вконец расчувствовалась бедная вдова и притянула к себе сына, чтобы несколько раз крепко облобызать его. – Но когда-то ты будешь мне настоящей опорой?

– Дубом, как сказано, еще быть не могу, но дубком быть постараюсь. Теперь на вакациях, например, пока я здесь, я охотно возьму на себя часть ваших хозяйственных забот.

– Распоряжайся, голубчик, приказывай, делай, что найдешь нужным. Я же накажу всем и каждому строго-настрого, чтобы слушались тебя, как главы дома.

– Да, этакая инструкция будет не бесполезна, особенно для приказчика. Он ведь бедовый!

– О да! Ты, милый, еще не знаешь, как он со смерти папеньки зазнался! Он пользуется моею забывчивостью, моими слабыми нервами, видит, что мне теперь уже не до прозы жизни...

– Так я его проберу. В папенькиной библиотеке, верно, найдется кое-что по деревенскому хозяйству?

– Наверное даже. Покойный заимствовался ведь всегда из Кибинец у Дмитрия Прокофьевича, которому из Петербурга придворный книгопродавец высылает книжные новости.

– Ну, вот. Из Нежина у меня тоже взято кое-что с собою. Выходя на бой хоть бы с этим приказчиком, не лишне вооружиться. А за успех я вам почти ручаюсь.

Глава вторая

Как дебютировал новый глава дома

Оружие для предстоящего боя на мирном поле деревенского хозяйства действительно отыскалось. Порывшись в библиотеке покойного отца, молодой Гоголь унес оттуда под мышкой к себе в светелку ворох книг, которые с привезенными из Нежина составили на столе его почтенный столбец. Два дня он почти безвыходно прокорпел над ними на своей вышке. На третий, уже «во всеоружии», он спустился вниз в отцовский кабинет и послал за приказчиком.

Всесильный на хуторе Левко хотя и получил за два дня назад от барыни надлежащую инструкцию – подчиняться всем распоряжениям молодого панича, но все-таки был несколько озадачен самоуверенностью и солидностью, с какими принял его безбородый юноша, усевшийся за отцовским письменным столом, в отцовском кресле, вполоборота к двери. Правую рукою небрежно перебирая костяшки лежавших на столе счетов, по которым покойный Василий Афанасьевич имел обыкновение проверять приказчика, панич на развязный поклон входящего милостиво только головой кивнул и прямо обратился к делу:

– Скажи-ка, Левок, но по совести, понимаешь! Все ли у вас на хуторе в должном порядке?

«Оце ще! – смекнул бывалый воротила хуторского хозяйства. – Давно ли, кажись, мальчига по полу на четвереньках ползал, а теперича, на-ка поди, за ночь в мужчину вырос! Аль для храбрости важность на себя напускает?»

И со сдержанною почтительностью он доложил паничу, что «все, слава тебе, Господи, в порядке. День недоедаешь, ночь недосыпаешь, чтобы господам спалось незаботно, спокойно...»

– Ладно! Впредь и мы будем спать только одним глазом, – остановил его Гоголь. – Ужо обойдем с тобою все уголья, все на месте осмотрим и проверим. Наперед же нам надо будет с тобою установить основные пункты, и я вкратце изложу тебе, как смотрят на сельское хозяйство люди науки, то есть люди поумнее и тебя и меня, вместе взятых.

Левко широко глаза раскрыл: «Что-то дуже уж мудрено, по-письменному говорит паныч! Погодим, погодим, что-то набалакает?»

Стал он слушать, но чем дальше «балакал» панич, тем все будто мудренее. Говорил он о том, что нынешней оседлой жизни русского народа предшествовала жизнь кочевая; что кочевник, предпочитая растительной пище животную, пользуется землею не столько для посева, сколько для прокормления своих стад; делаясь же оседлым, он прежние пастбища распахивает под посевы...

– Кстати вот, – сам прервал тут молодой лектор, – ты слышал, конечно, про Робинзона?

– Робинзона? – переспросил приказчик и покачал головою. – Ни! Есть у нас тут по соседству шинкарь Буфинзон, тоже из жидовы...

– Ну, мой Робинзон-то не из жидов, разве что из английских, – снисходительно усмехнулся Гоголь. – Так вот, во время бури на океане выбросило его на пустынный остров, и оказался он там также на положении кочевника...

Сам того не замечая, лектор с возрастающим увлечением стал повествовать о первых опытах Робинзона по скотоводству и земледелию.

– Оце добре, – поддакнул Левок, когда Гоголь на минуту перевел дух в своем рассказе. – А вже ж мы тут в Яновщине не на пустынном острове...

Повествователя как ушатом холодной воды окатило.

– И ничего-то ты, братику, милый, не понимаешь! Васильевка наша – а не Яновщина, сколько раз повторять вам, что мы не поляки! – среди степи тот же пустынный остров. Но что с тобой толковать, чоловиче!

– Оно точно, люди мы темные, неученые...

– Ну и слушай, коли раз поучают.

Оставив в стороне частную историю о Робинзоне, Гоголь возвратился к общей истории развития земледелия у оседлых народов, рассказал о том, как постепенно пришли к правильному севообороту, к разведению чужеземных растений, которые, приспосабливаясь к новому климату, к новой почве, меняют и цвет, и форму.

– Но благоразумный хозяин обращает внимание на то, чтобы растение не выродилось, – продолжал молодой агроном докторским тоном, – потому что одно растение любит больше глинистую почву, другое – песчаную, третье – суглинки или супески...

– И вы, панычу, знаете все сорта почвы! – с видом самого непритворного изумления воскликнул внимательный слушатель. – Велики чудеса твои, о Господи! А мы-то, дурни, сидим тут себе на чистом черноземе, хоть рой вглубь на три аршина, и не ведаем, какая еще там где глинистая, песчаная или другая почва!

«Опять, злодей, срезал! И то ведь, на что ему здесь разные почвы, коли он весь век свой сидит на одном черноземе?»

– Чернозем, строго говоря, даже не почва, – заговорил Гоголь вслух. – Это – перегной растительных и животных остатков. В болотистых местах эти гниющие растения и животные сотнями лет превращаются в торф, на сухих же местах – в чернозем. Иначе сказать, чернозем – созданное самой природою удобрение, а чем гуще удобрение, тем, понятно, лучше.

– Так! – подтвердил Левко и почесал за ухом. – А мы-то здесь – простите неучам! – все удобрение наше кизяком в печи сжигаем, на ветер пускаем.

– Так наперед, по крайней мере, знать будете на поле свозить.

– До последней лопаты свезем. Одна беда вот...

– Ну?

– На черноземе-то хлеб у нас и без того хорошо родится, а как лишнего удобрения прибавишь, так, того гляди, колос поляжет да ржавчина, головня заведется. Как тут быть прикажете?

«Что он, в самом деле, несмышленный младенец или только так прикидывается?»

– А это смотря по обстоятельствам, – нашелся Гоголь, – где почва достаточно жирна, там жиру, разумеется, прибавлять нечего.

– А пахать прикажете?

– Пахать?.. Да для чего, коли чернозем?

– Чернозем, воно точно, да дуже плотный: не пахать, так ничего, поди, не взойдет. Но воля ваша панская...

«Фу ты, пропасть! На каждом слове ловит! Этого доку не перемудришь. Как бы благородным манером отретироваться?»

– Ужо еще потолкуем, когда вместе обойдем поля, – оборвал собеседование Гоголь, приподнимаясь с кресла. – Один еще только вопрос: в нашем пруду ведь не водятся раков?

– Ни, панычу, не водятся.

– Между тем это очень прибыльная статья! Французы в Париже зарабатывают себе ими сотни тысяч.

– А возить их мы будем тоже к французам?

– Зачем к французам, коли свой Париж – Москва под боком? Надо только принять меры, чтобы дорогой не поколели, а зиму-то в пруду уже прозимуют.

– Так наконец-то мы тоже познаем, где раки зимуют!

– Ну, это-то, приятелю, ты давным-давно и без меня уже познал. Откосы у пруда обложим камнями...

– А камения тоже из Москвы вывезем?

– Гм... У нас их тут, в черноземной полосе, точно, маловато... Ну, так как-нибудь обойдемся. А чтобы вкус раков был нежнее, будем кормить их мясом. Каким вот только – сообразить еще надо.

На тонких губах Левка зазмеилась недобрая усмешка.

– Да утячим, чего лучше? – предложил он. – Уток у нас на хуторе, что журавлей в небе. Да и огорода от них легче будет. Двух бобров зараз уьем.

– Двух бобров и одну бобриху, – с ударением сказал Гоголь, которому вспомнилось о давнишней контре между приказчиком и старшею скотницей из-за верховной власти над скотным и птичьим двором. Левко, очевидно, был рад случаю насолить своей сопернице. – Чтобы не откладывать дела в долгий ящик, сходи-ка, братику, за обер-скотницей.

– За Ганной? Сходить – отчего нет. Только придет ли вздорная баба!

– А что?

– Да коров сейчас только с поля пригнали и поят.

– Тут ее беспокоить, точно, уже не приходится. Ну что ж, сами к ней побеспокоимся да при сей оказии и коров ее обревизуем.

– А мне теперича можно идти?

– Нет, друже милый, ты пойдешь со мною. Как же тебе, главному ревизору, не быть при ревизии?

Ввиду летнего времени, доение коров на скотном дворе происходило не в хлеве, а под открытым навесом. Работа была в полном разгаре. Из тридцати с лишком коров половина была уже выдоена, остальные в ожидании своей очереди были заняты жвачкой.

– Здорово, титусю! – приветствовал Гоголь «обер-скотницу», женщину дородную, зрелых уже лет и, судя по темному пушку над верхней губой, мужественного характера.

У двух подначальных коровниц, молоденьких еще дивчин, появление панича вызвало некоторый переполох, так как туалет их был более приспособлен к доению, чем к приему столь редкого гостя. Но начальница тотчас заслонила их своим полным корпусом и подбоченясь, огрызнулась на приказчика: где у него, мол, совесть приводить сюда панича. А затем более мирным тоном предложила последнему убираться вон.

– Добре, бабо, добре! – отозвался панич, благодушно похлопывая по плечу ворчунью. – Я отлично понимаю, что с коровами, как с особами нежного пола, требуется обращение тонкое, деликатное: не пугать, не толкать, чтобы, Боже упаси, не приняли к сердцу и не задержали молока.

– А коли понимаете, то и идите себе своей дорогой!

– Пойду, Ганнушка, как только выясню одну статью, о которой у нас с Левком был вот сейчас разговор. Из домашней птицы ты всего больше уток разводишь?

Из глаз Ганны скользнул ядовитый взгляд в сторону ее старинного недруга.

– Овва! Ирод сей насказал уж вам, что от уток моих больше вреда, чем пользы, что огорды ему портят? Не верьте лгуну: брешет собачий сын! Сам утенка от воробья не распознает. От утки и перо-то доброе, и мясо жирное, смачное, а для развода птица самая что ни на есть непривередливая: как вылупится из яйца, через две недели не боится уже холода, ест что случится, хворобы, почитай, что не знает, а хлопот за нею ровно никаких: и курка, и кошка одинаково ее высидит и вырастит.

– О! И кошка!

– И кошка.

Со снисходительной улыбкой, с какою она рассказывала бы капризному ребенку занимательную побасенку, чтобы поскорее только от него отвязаться, обер-скотница поведала паничу подлинную историю шестнадцати утят, которых с месяц назад в Васильевке высидела курица, а затем приняла под свою опеку бездетная кошка Маруська. Как с собственными котятами, она нянчилась-де с малышами: отгоняла от них других кошек, собак и свиней, кормила своим

кормом – молоком, хлебом да мясом, а как наедятся досыта – брала их под себя, ровно наседка. Ну, вырастила на славу!

– И все-то для того, чтобы в конце концов их общипать и скушать? – досказал Гоголь.

– Не всех! – подхватил со смехом Левко. – С Ганной поделились, и меня, спасибо, угостила.

– Бухай, да не ухай! – окрысилась на насмешника Ганна. – Чтоб тебе подавиться первым куском утки...

– Не доведется, моя матинко. Паныч хочет разводить в пруду раков, а выкармливать-то чем, как не твоими утками?

– Ну вже так! Да провались я на сем самом месте...

– Полно, Ганнушка, не сердись по-пустому! Все это еще вилами по воде писано, – счел нужным успокоить ее Гоголь. – Маменька, видишь ли, желает, чтобы я вообще ознакомился теперь с нашим хуторским хозяйством. Вот я и заглянул сюда, в твое коровье царство.

И, чтобы убедить царицу этого царства, что сам он тоже по ее части кое-что да смыслит, он принялся выкладывать перед нею нахватанную за последние два дня книжную мудрость о кормлении коров на молоко и на убой, о пользе для дойных коров моциона и о кормлении их морковью с брюквой.

– От моркови молоко, как известно, делается гуще, – говорил он. – От брюквы же вкуснее и упивается его вдвое больше. Так я вот со своей стороны посоветовал бы тебе...

Ганна, сердито отмалчивавшаяся, туг не вытерпела:

– Помяни, Господи, царя Соломона и всю премудрость его! Чем кормить скотину – и без вашей премудрости, слава Богу, знаем.

Левко, исподтишка подсмеивавшийся над обоими, подлил еще в огонь масла:

– И ничего-то ты, бабо, не знаешь! Его милость паныч – скубент ученый, а ты что за цаца? Дура стара! Он всякий кувшин молока по книжкам у тебя вперед учтет.

– От так бак!

– А что ж, и учту, – подтвердил Гоголь, подзадоренный плохо скрытою иронией приказчика. – При условии, конечно, что ты Ганна, ведешь правильные записи удоев.

– Какие там еще записи! Что выдоится – то и добре. Записью ни прибавишь, ни убавишь.

– Скажи просто, что ты неграмотная. Ну, это я понимаю. Но как же ты можешь судить о том, идет ли корм впрок корове, коли ты ее не проверяешь? Вместо записей ты могла бы хоть нарезками на стойле, что ли, отмечать, какой корове сколько и какого дано корму, сколько от нее выдоилось крынок...

– А вот я вас самих, панычу, заставила б подоить корову...

– А что ты думаешь? – вмешался опять Левко. – Его милость паныч и про то, как следует доить, в книжках своих вычитал, и самоё тебя, старуху, еще в науку возьмет.

Нахал явно уже издевался над ним! Погоди ж, приятель.

– Этой одной науки только я еще не прошел на деле, – сказал Гоголь. – В Нежине у нас, к сожалению, нет такого профессора. Но ты, Левко, конечно, профессор и по всему молочному хозяйству. Покажи-ка мне сейчас, сделай милость, как доить.

Приказчик опешил и смущенно покосился на трех баб.

– Что вы, пане добродию! Коли хотите уж поучиться, так вот бабы вас поучат.

– А сам ты разве так и не умеешь?

– Да это ж не мужское дело!

– Вообще-то, не мужское, но настоящий приказчик должен знать всякую штуку, чтобы при случае тоже показать. Поклонись же в ножки профессорше, чтобы взяла тебя в науку. Не откажи ему, Ганна!

Степенная коровница еще менее Левка признавала баловство в своем деле, но предложение панича было ей на руку. Раз-то хоть можно было по душе натешиться над ненавистным приказчиком.

– Да хоть сейчас почнем, – сказала она, засучивая рукава. – Только наперед, батечку мой, надо тебе платком повязаться, чтоб из сального чуба твоего ни волоска в молоко не попало. На вот, так и быть, мой платок. Да руки вымой: вон вода в ушате. С грязными ручищами я тебя до коров моих не допущу.

– Что же ты, братику, чего ждешь-то? – спросил Гоголь, с трудом сохраняя серьезный вид. – Говорила тебе маменька или нет, чтобы ты беспрекословно исполнял всякое мое приказание?

– Говорили, точно...

– Ну, так вот и слушайся: сию минуту умой руки, повяжись платком, а затем делай, что укажет тебе Ганна.

Дело приняло такой крутой для приказчика оборот, что даже на опущенных губах оберскотницы показалась злорадная усмешка, а молодые доильщицы зафыркали.

Хмурый и злой, со стиснутыми зубами, со сжатыми кулаками, Левко не трогался с места. Но прямо ослушаться полновластного панича ему, крепостному человеку, очевидно, не приходилось. И, скрепя сердце, он наклонился к уху панича, шепнул ему чуть не с мольбою:

– Смилуйтесь, пане ласковый! Будут ли меня еще слушаться на хуторе, сами посудите, коли вы шута из меня делаете?

Слишком ронять значение приказчика на хуторе, действительно, было не практично. Благо наказан уже за свое высокомерие и сам просит пардона.

– Пошутили – и ладно, – сказал Гоголь и, милостиво кивнув на прощанье коровницам, ушел вон.

Левко плелся за ним следом тише воды, ниже травы и, только выйдя за калитку скотного двора, решился спросить, когда-де его милости угодно будет поля осмотреть?

– Когда опять удосужусь, – был ответ. – Мы с тобою, кажется, поняли теперь друг друга?

Выразительное подмигивание, которым сопровождалась эта фраза, ободрило опять плута-приказчика.

– Поняли, пане, – отвечал он. – Рыбак рыбака видит издалека, как говорят москали.

– Что ты, братец, рыбак и мастер ловить рыбу даже в мутной воде – в этом я никогда не сомневался. Но теперь ты, я думаю, убедился, что и я не даю себе пальца в рот класть. Так, стало, и намотай себе на ус. А засим, друже, будь здоров.

Покончив на этом обозрение хуторского хозяйства, Гоголь поднялся к себе на вышку и тут, как после тяжелого сна, стал потягиваться, зевнул глубоко-глубоко во весь рот: целая гора ведь у него с плеч скатилась!

Когда затем как-то Марья Ивановна справилась у сына о результате его собеседования с Левком, он покраснел, но нашел нужным выгородить приказчика:

– Для хозяйства, маменька, Левко просто находка, золотой человек. Appetit у него некоторый есть, но курочка по зернышку клюет, а сыта бывает.

– Да разве нельзя было его уличить на чем?

– Можно было бы, но, уличив, пришлось бы сместить и променять, пожалуй, на волка. Так не лучше ли скромную курочку покормить, чем жадного волка? Впрочем, я его все-таки не буду упускать из виду, будьте покойны.

И он не упускал его из виду: бывал и на лугах, и на полях, когда там косили сено, жали хлеб. Любуясь мирною сельскою картиной, прислушиваясь к болтовне и к песням косарей и жниц, сам тоже с ними заговаривал, балагурил. Но репримандов ни приказчику, никому вообще уже не делал. И без того ведь все шло как по маслу: Левко, очевидно, намотал себе на ус поучение панича и старался теперь во всем ему угодить, услужить.

В саду и в доме, однако, надо сказать, молодой хозяин оставил еще за собою свободу действий: нередко можно было его видеть или роющим заступом в грядках, или стоящим в белом фартуке на высокой скамье в зале, в гостиной, вооруженным громадною кистью и расписывающим по стенам бордюры, букеты и арабески. Утренние же часы он посвящал обыкновенно урокам географии и истории с двумя сестрицами: Анненькой и Лизонькой, которые, благоговей перед братом-студентом, слушали его очень внимательно и повторяли за ним чуть не слово в слово весь урок. Никоша был теперь ведь уже взрослым, перестал их дразнить, как бывало прежде, обходился с ними снисходительно-ласково, часто наделял их гостинцами, которые у него на вышке не переводились, а с маленькой Олечкой, любимой своей сестренкой, сам даже иной раз резвился, сажал ее верхом на Дорогого и бегал рядом, погоняя дога плеткой. О новых стихах своих он уже не заикался, а сестры, да и мать забыли о них, точно их и не бывало.

Охотнее же всего уходил он теперь куда-нибудь подальше, в безлюдную степь, где проводил целые часы, растянувшись в высокой траве. Прямо над головой его возвышались, приветно кивая, душистые степные травы, а над верхушками их в недостижимой вышине по глубокой лазури величаво-медленно плыли белые, как морская пена, облака. Кругом же – звучная степная тишина: жужжание и стрекот насекомых, птички пересвисты и щебетание. Порою только в эту однообразную музыку природы прорвется отдаленный скрип немазанных колес и монотонный человеческий напев. Тогда ленивец наш приподнимет над травую голову, облокотится, и на светлом фоне неба темными силуэтами вырисуются перед ним пара волов и телега, нагруженная снопами, а на возу сам певец, пузатый, усатый малоросс, который, покачиваясь как бы в полудремоте и сам того не сознавая, тянет без конца один и тот же излюбленный народный мотив. И опустится юноша снова в мягкую траву. Тихо-тихо замирает в ушах его заунывная песня, а перед сомкнутыми глазами встает уже другая картина из былых рассказов покойного отца о седой старине: по той же украинской степи на борзых конях несутся лихие всадники с пищалями за спиною: один, другой, Третий, десятый, то ныряя в зеленом океане степных трав, то мелькая над их поверхностью своими усатыми молодецкими головами. Скачут и поют, один запекает, другие подтягивают. Давно уже самих их и след простыл, а песня их все еще доносится откуда-то издалека. О чем она? О том, конечно, как они всею Сечью ударят на басурманов... Эх, как бы записать дословно все слышанное про славных запорожцев! Но мало ли и в наше время своего рода чернильных басурманов – «крапивного семени» – в разных судах да канцеляриях? Вот на кого бы ударить, кого бы разгромить! И разгромит он их однажды, о! непременно, во что бы то ни стало, разгромит...

Вдруг будущий громитель чернильных басурманов вострепнулся: совсем около него раздался взмах тяжелых крыл, а вслед за тем показывается и нарушительница его покоя – большущая неуклюжая дрофа. Как исполинская птица Рок из «Тысячи и одной ночи», высится она над ним и сонными глазами щурится на распростертого в траве. Убедившись же, что существо это не от мира сего, тот же мечтающий пень, птица-философ залезает клювом себе под крыло, чтобы удалить непрошеного паразита, и затем с тою же невозмутимой флегмой сама удаляется: не хочу, мол, мешать тебе, человек, мечтай, пока мечтаешь.

И мечтал он... Глядь – и вакациям конец!

Глава третья

Экскурсия в Константинополь

Обратный путь из деревни в Нежин Гоголь совершил, по обыкновению, в сообществе своего старейшего друга – Данилевского. Одновременно с ними налетели со всех концов Малороссии и прочие их однокурсники-студенты. Один из них, Божко, первый ученик в классе, встретил двух друзей тотчас же животрепещущею новостью:

- А слышали вы, господа, что нашего полку прибыло?
- К нам поступил новичок?
- Новичок, да из старичков: знаем мы его уже сколько лет.
- Ага! – догадался Данилевский. – Базили. Верно?
- Верно.

Догадаться Данилевскому было не особенно трудно: Базили, будучи одних лет с Божко, Данилевским и Гоголем, три года назад попал только в самый низший (первый) класс, когда те переходили в четвертый, потому что, грек родом и уроженец Константинополя, он всего за год перед тем прибыл вообще в Россию и не знал почти, как говорится, в зуб толкнуть, по-русски. Но уже год спустя, он настолько преуспел в русском языке, что был переведен из первого класса прямо в третий, а еще через год в пятый, где вскоре стал бы первым учеником, если бы прежний первый ученик, Кукольник, не приложил всех стараний, чтобы сохранить за собою первенство. Теперь, оказывалось, Базили обогнал и Кукольника: перешагнул через шестой прямо в седьмой класс.

– Ай да молодчина! – сказал Гоголь. – Не нам с тобою, Александр, чета. Когда ж он подготовился?

– А летом, – отвечал Божко. – Когда мы отдыхали и баклушничали, он корпел над книгами и вот выдержал-таки тоже на студента. Не мешало бы нам, господа, побрататься с ним, а?

Гоголь только пожал плечами на такие «нежности», но Данилевскому предложение понравилось.

– И то не мешает подбодрить его, – сказал он. – Он несколько застенчив, да и горд. А ты уже виделся с ним, Божко?

– Нет. Я сам сейчас только из деревни. Но я спрашивал о нем, и мне сказали, что он ушел с книжкой в сад.

– Ну да ему самому, видно, не по себе еще с новыми товарищами.

– Так не отыскать ли нам его теперь же?

– Идем. А ты, Божко, скажи ему еще, кстати, что-нибудь от всех.

Гоголь не говорил ни за, ни против, однако пошел вместе с обоими.

– Идемте-ка тоже с нами, господа, – предложил Данилевский двум другим однокурсникам, поднимавшимся навстречу им по лестнице, и объяснил для чего.

В саду к ним примкнули еще трое. Застали они Базили в самом конце боковой аллеи читающим книгу. При приближении целой компании новых товарищей Базили, стройный, горбоносый брюнет, с натянутой улыбкой приподнялся со скамейки, но еще более смутился, когда Божко обратился к нему с торжественным приветствием:

– Мы, Базили, очень рады, что приобретаем в тебе столь достойного товарища. Позволь мне от лица всех поцеловать тебя!

И, прижав его к сердцу, он чмокнул его в обе щеки.

– Позволь уж и мне, – сказал Марков, второй после Божко ученик в классе, раскрывая также объятья.

– Господи Боже! Какое бескорыстие и благородство! – заметил Гоголь. – Лобызаятся с опаснейшим соперником!

– О! Он нам не опасен, – весело отозвался Божко. – Через год он и нас оставит за флагом.

– Тише едешь – дальше будешь.

– Нет, господа, прошу вас видеть во мне совершенно равного, – сказал Базили самым искренним тоном. – И ты, Яновский, не считай меня, пожалуйста, выскочкой. Я случайно только отстал, а теперь опять нагнал вас. Никаких преимуществ я перед вами не имею...

– Кроме древних языков, в которых ты собаку съел, – перебил его Гоголь. – А начальство наше овсом не корми, болтай с ним только по-гречески, по-латыни...

– Так я всегда к вашим услугам, господа. Обращайтесь ко мне, сделайте одолжение, по обоим языкам. Они вовсе не трудны.

– Словом, благородство в квадрате! И по этой части, господа, он побил нас в пух и прах. Но о личности твоей, Базили мы знаем только одно: что ты беглый грек. Как ты, однако, попал к нам? Куда стремишься? *Cui, quo, quomodo, quando?* (Зачем, куда, каким образом, когда?) Как видишь, в латыни и мы тоже кое-что маракуем.

– Родом я действительно грек, но родился в Константинополе, откуда семья наша бежала четыре года назад с сотнями других христиан. Но великодушный император ваш Александр Павлович принял в нас самое теплое участие. А попечитель здешней гимназии, граф Кушелев-Безбородко, открыл в ней тотчас шесть бесплатных вакансий для сыновей эмигрантов, и я – один из этих счастливых. Вот вам, господа, мой краткий формуляр.

– Но формуляра нам мало, – сказал Данилевский. – Что ты из хорошей семьи, нам давно известно. Точно также, что ты насковозь порядочный человек: три года ведь, слава Богу, вместе хлеб-соль ели! Но до сегодняшнего дня ты был не наш, и нас не особенно интересовало твое *curriculum vitae*¹. Ну, а теперь другое дело. Бегство, конечно, сопровождалось разными романтическими приключениями...

– И какими! Волос дыбом становится.

– Ну вот, тем любопытней! О зверствах турок передавали тогда ужасные вещи, а тут, оказывается, ты испытал их даже на самом себе! Рассказал бы ты нам теперь, право, всю свою одиссею.

– Если вам угодно, господа...

– Очень даже угодно! Само собою! – подхватило несколько голосов. – Тут на скамейке все и расположимся. Ты, Базили, садись-ка посерединке... А ты, Яновский, что же? Сдвиньтесь, господа! Дайте ему тоже место.

– Я постою, – сказал Гоголь, прислоняясь к соседнему дереву. – Ну, что же? Мы ждем.

– Да вот не знаю, с чего начать... – замылся Базили, черты которого приняли вдруг грустно-задумчивое выражение.

– Начинают обыкновенно с начала.

– Обыкновенно да. Но в моем случае требуется своего рода введение. Прежде чем описывать события, мне надо развернуть перед вами, так сказать, план действия. Прошу вас перенестись со мною на живописные берега Босфора, в столицу кейфа и собак.

– Собак, то есть турок? – переспросил один из слушателей.

– Нет, именно собак, четвероногих породы *canis domesticus*, потому что собака гля мусульманина такое же священное животное, каким для древних египтян был бык Апис. В мечетях наравне с нищими кормят и собак. Убить гяура, иноверца, для турка легче, чем убить собаку. Таким-то образом бродячих собак там развелось видимо-невидимо, и по ночам от них даже на улицу не выйти: того гляди, растерзают.

– А сами турки не злой народ?

¹ Бег жизни (*лат.*); автобиография.

– Ничуть. Пока дело не коснулось их религии, они преблагодушны. Турка, этого представителя азиатской неги и лени, в обыденной жизни его я вижу не иначе, как сидящим на мягком диване со скрещенными ногами и с дымящейся трубкой. Европейцы шныряют мимо него, мечутся туда да сюда, а он безмятежно «кейфует» на своем диване и сонно только глазами поводит на расстилающийся перед ним Золотой Рог, залив константинопольского порта, с бесчисленными кораблями и каиками, на полуостров сераля, султанского дворца, с его древнею стеной и воздушными садами, сквозь зелень которых светятся золотые крыши, свинцовые купола и белые фантастические минареты. В душе он, конечно презирает равно и европейца, и местную райю.

– А это что ж такое?

– Райя – презрительное название туземных иноверцев: греков, армян и евреев. Для европейцев, птиц вольных, перелетных, отведено самое почетное предместье города – Пера. Райя же, которая составляет половину всего населения и находится почти в равном загоне, теснится в отдаленных кварталах и даже в цвете одежды должна совершенно отличаться от мусульман: греки ходят всегда в черном, как бы в знак вечного траура по потерянной свободе, армяне одеваются в коричневый цвет, а евреи – в голубой, даже дома у них окрашены в голубую краску. Точно в насмешку дан им этот цвет – цвет верности, который, впрочем, по их природной неопрятности недолго сохраняет у них свою чистоту и обращается в грязно-серый, как и их совесть!

– За что это, Базили, ты так озлоблен на евреев?

– За что? Когда они, можно сказать, Христа там вторично продали, бесчеловечнее самих турок надругались над трупом нашего патриарха!

– Над трупом? Так его, значит, убили?

– Не просто убили, а казнили, как преступника.

– Но за что? Что он сделал такое?

– Ничего не сделал. Но он был первосвященником христиан, и этого было довольно для изуверов. Греция ведь, как вы знаете, уже четвертый век находится под владычеством турок. Но в последние годы положение угнетенных становилось все невыносимее: каждый паша хозяйничал в своем пашалыке как разбойник, и терпение населения истощилось. Брожение началось с дунайских княжеств, а оттуда быстро распространилось на Архипелаг и Греческий полуостров, так что турецкий гарнизон в больших городах должен был запереться в своих цитаделях. На море греки к началу 1821 года успели также вооружить флот в сто восемьдесят кораблей. Понятно, что турки до крайности озлобились на мятежников. В Константинополе озлобление их обратилось на богатый греческий квартал фанариотов, хотя те пока не принимали видимого участия в восстании.

– А твои родители, Базили, были также фанариотами?

– Да, отец мой занимал среди тамошней греческой колонии видное положение и принадлежал, подобно большинству, к тайному братству Этерия, которое задалось целью сбросить ненавистное турецкое иго. Но эти же этеристы дали первый повод туркам к резне. Великим драгоманом (переводчиком) Порты был в то время грек Константин Мурузи, человек очень знатного рода и чрезвычайно умный и ловкий. И вот однажды, когда Мурузи только что выходил из дворца великого визиря, неизвестный человек подал ему письмо. Письмо было от этеристов, предлагавших ему содействовать общему национальному делу. Пока Мурузи пробегал письмо, податель скрылся. «Что, если это только ловушка со стороны великого визиря, чтобы испытать верность драгомана?» – подумал Мурузи и, как человек очень осторожный, возвратился к визирю и показал ему письмо. Но на свою же погибель!

– Да разве можно взыскивать с человека за то, что ему пишут другие?

– Не за это, а за то, что он, переводя визирю письмо по-турецки, – визирь сам не знал греческого языка, – передал его содержание не буквально.

– Так зачем же он это сделал?

– Затем, чтобы не повторять слишком резких выражений, обидных для турок. При этом он пропустил еще целую фразу, где в числе участников заговора были переименованы самые знатные греки. Визирь милостиво отпустил его от себя, но вслед за тем велел позвать другого драгомана из армян, который и перевел ему письмо от слова до слова.

– Ах Иуда, предатель!

– Слишком винить его также нельзя: он спасал свою собственную голову.

– И визирь донес обо всем султану?

– Донес. А на другое утро и Мурузи, и брат его, столь же безвинный, были публично казнены перед киоском сераля... С этого дня пошли обыски по всему греческому кварталу, аресты и новые казни. Так наступило Светлое Христово Воскресение. Никогда не забуду этого ужасного дня! Матушка ни за что не хотела отпускать мужа и со слезами умоляла его остаться дома. Но отец был старостою патриаршей церкви, и для него было немыслимо в Великий праздник не присутствовать при патриаршем служении «Но на нынешней заутрене турки готовят, ты сам ведь слышал, общую резню! – говорила матушка. – Тебя убьют, а мы даже и знать не будем!». Мне минуло тогда двенадцать лет, и из всех братьев и сестер я был старший. «Не бойтесь, матушка, – сказал я. – Я возьму саблю и пойду с папой!» Матушка сквозь слезы улыбнулась: «Чтобы и тебя вместе с ним убили!» – «И то ведь, пускай идет со мною, – сказал отец. – По крайней мере, принесет вам весть, если бы мне не суждено было вернуться. Только саблю-то, милый, оставь-ка лучше дома». Матушка еще возражала, но наконец должна была уступить и благословила нас обоих...

– А ведь преинтересно? – перешептывались меж собой товарищи храбреца, подталкивая локтями друг друга. – Что-то дальше будет?

– Ч-ш-ш-ш! Молчание, господи!

– До собора мы с отцом добрались без всякой задержки, – продолжал рассказчик. – Но, Боже, как не похож был этот Великий день христианства на прежние! Бывало, греки с женами и дочерьми в ярких праздничных нарядах толпами валят к святому храму – в Светлый праздник им разрешалось, в виде исключения, наряжаться вместо траурного в цветное платье, – а после обедни до глубокой ночи на улицах всего греческого квартала музыка, пение, пляска... Сегодня же только самые бесстрашные в своей будничной черной одежде пробирались закоулками в патриарший собор, и вместо пятнадцати тысяч, стекавшихся туда к Великой заутрене, можно было насчитать теперь только сотню-другую. Началась литургия. В ту самую минуту, как патриарх вошел в алтарь, в собор ворвались вдруг чауши (полицейские с стражники), чтобы отвести владыку на суд к султану. Но когда он тут в полном облачении, во всем величии своем показался в царских вратах, они замерли на месте как очарованные. Так он невозбранно завершил богослужение, приобщился святых тайн и удалился в свою залу, куда за ним последовал разговеться весь синод и разные почетные лица.

– В том числе и отец твой?

– Да, а с ним и я. Не дай Бог никому такого печального разговенья! Все молча переглядывались меж собой, как приговоренные к смерти. Один патриарх лишь не упал духом и твердым голосом ободрял нас уповать на Христа Спасителя по примеру первых христиан, которые без колебаний шли на всякие муки. Но когда он стал тут раздавать каждому по золотому и по красному яичку, прощаться с каждым, вся зала наполнилась воплями и рыданиями. Благословив всех, владыка с тем же невозмутимым величием вышел к стражникам: «Теперь я готов идти с вами». Три митрополита вышли вслед за патриархом, и стражники окружили их вместе с ним. Отец мой впереди других бросился за уходящими: «Возьмите и нас с ним!» – «И до вас уже доберемся, не беспокойтесь!» – отвечал начальник чаушей, и они увели с собою четырех мучеников...

Базили умолк и закрыл глаза рукою.

– И с той минуты вы их уже и не видели? – решился через некоторое время один из товарищей нарушить наступившее тяжелое молчание.

– Патриарха мы еще видели, но как! – с глубоким вздохом отвечал Базили, опуская руку. – Отец, как староста, замешкался в соборе до второго часа. Меня он не решился отослать одного домой, и я остался при нем. Когда мы тут вышли из собора на паперть, то так и обмерли, оцепенели от ужаса. От пристани к соборным воротам шел осужденный уже владыка со скрученными за спину руками. По сторонам его – четыре чауша, позади – палач с веревкой... Лицо святителя было бледно как смерть, но как всегда спокойно и величаво. Поодаль – толпа перепуганных христиан, в окнах – головы любопытных женщин и детей... И что же! Когда палач принялся за свое ужасное дело, добровольными помощниками ему явились не турки, нет, а евреи, которые со злорадством высыпали из своего квартала на казнь главы православной церкви... Увольте меня, господа, от подробностей! – прервал себя с горечью Базили. – Добро бы хриstopродавцы остановились на этом...

– Да чего же еще более?

– Чего более?! Три дня ближним казненного дается срок, чтобы выкупить его тело у палача и предать земле. Христиане, однако, были так напуганы, что никто из них не посмел выкупить тело патриарха.

– И выкупили его евреи?

– Да, за восемьсот пиастров, но для чего? Для того, чтобы над ним надругаться, а затем бросить в Босфор...

Теперь и слушатели были возмущены не менее рассказчика.

– Волны были милосерднее людей, – продолжал тот. – Они прибили тело к одному славыанскому бригу в Галате (предместье Константинополя). Стоявший на вахте матрос по облачению узнал патриарха и поспешил накрыть труп рогожей. А капитан велел принять его из воды и спрятать в трюме. Ночью бриг снялся с якоря и уплыл в Одессу. Здесь ему ради обычных формальностей пришлось простоять сутки перед входом в гавань. А тем временем печальная весть уже облетела весь город. Когда затем бриг входил в гавань под траурным флагом, все суда, стоявшие на рейде, салютовали святому мученику пушечного пальбою, которая не умолкала до самого вечера. На следующее же утро состоялись торжественные похороны, и все христианское население Одессы шло за гробом.

– А ты-то, Базили, остался с родителями пока еще в Константинополе?

– Остался... и едва-таки также не угодил в петлю...

– Как! И тебя хотели повесить?

– Всех нас. Но это длинная история, а вам, господа, и без того, я думаю, надоело уже слушать...

– Ах нет, ничуть! – уверил единодушный хор слушателей.

Познакомиться с похождениями самого Базили им, однако, пока не пришлось, потому что в это самое время за ними пришел сторож с приглашением пожаловать к вечернему чаю. Решено было дальнейшее слушание истории Базили отложить до ночи в спальне, где никто им уже не помешает.

– Главное же, – добавил Гоголь, – что ночью страшное вдвое страшнее, а ведь чем жутче, тем лучше!

Глава четвертая

Как спасся Базили?

Вот и ночь, которая для юных обитателей нежинской гимназии высших наук наступала тотчас после ужина и вечерней молитвы с боем девяти часов. Пансионеры всех трех возрастов чинно лежат по своим кроватям в трех смежных, соединенных между собою дверьми спальнях. Дежурный сторож тушит лампы, а вместе с ним удаляется и дежурный надзиратель, пожелав молодежи «доброй ночи». Воцаряется и «добрая ночь». Но не надолго: пять минут спустя, в спальне старшего возраста картина переменилась, одна из ламп, ближайшая к кровати Базили, снова зажжена, а на краю кровати, как и на двух соседних и на пододвинутых табуретах, группируются, закутавшись в свои одеяла, все студенты – однокурсники рассказчика, а также избранные из прежних его одноклассников: Кукольник, Халчинский, Прокопович. Кем-то из студентов двух старших курсов заявляется сперва по этому поводу неудовольствие: что время спать, а не болтать. Но когда делается известною тема предстоящего рассказа, то и кое-кто из недовольных присоединяется к слушателям.

– Однако из предосторожности не мешало бы, я думаю, поставить в коридоре махального? – заметил студент старшего курса и старший друг Гоголя Высоцкий.

– А вот барончик с удовольствием постоит там, – сказал Гоголь. – Кому охранять отечество от нашествия иноплеменных, как не благородному дону и гидальго?

– Понятное дело. Иди-ка, барончик, иди! – подхватили окружающие.

Простофиля-товарищ их, Риттер (которому, как припомнят читатели первой нашей повести о Гоголе, было присвоено в числе целой массы кличек, и прозвище «барончик»), хотел было протестовать, но покорился единогласному решению товарищей, когда Базили обещал ему при случае повторить свой рассказ.

– Итак, я буду продолжать с того момента, на котором давеча остановился... – начал Базили.

Но Высоцкий перебил его:

– Постой, погоди. Кто из вас, господа, не слышал начала?

Оказалось, что половина присутствующих не слышала.

– Так что же мы-то обойдены? Начинай ab ovo².

– Но какво Яновскому и другим слышать то же самое дважды? – возразил Базили.

– Ну, братику, об этом-то дай судить нам самим! – сказал Гоголь. – Добрую книгу аматеры во второй раз смакуют еще лучше.

– Как прикажете, – подчинился Базили и рассказал то же самое вторично, но, как хороший рассказчик, другими словами и с некоторыми характеристичными дополнениями, которые придали его повествованию и для прежних слушателей новую окраску.

Тут от входных дверей с коридора донеслось громкое многократное чихание. Все невольно оглянулись. Чихал, оказалось, махальный Риттер: будучи не из храброго десятка и любопытствуя хоть одним ушком послушать, он предпочел вместо прохаживания по неосвещенному коридору стоять у дверей, где его, завернутого в одеяло и прохватило, видно, сквозняком.

– Э-э-э! – вскричал Высоцкий. – Так-то ты, любезный, исполняешь свой гражданский долг? Поди-ка сюда, поди на расправу.

– Да мне же скучно, господа, ей-Богу... – жалобно оправдывался Риттер.

² От яйца (*лат.*); с самого начала.

– И солдату на часах не весело. А знаешь ли, Мишель, какому наказанию подвергается часовой за самовольную отлучку со своего поста?

– Расстрелянию, кажется.

– Ну вот. Но мы теперь не в Нежине, а в Константинополе. Скажи-ка, Базили, к какой казни его присудили бы по турецким законам?

– Казни у турок очень разнообразны, – объяснил Базили. – Разбойников сажают на кол, гяуров вешают или обезглавливают, военных душат, улемов, то есть юристов и духовных, толкут живыми в ступе, пашам посылают почетный шнурок или чашку яда...

– Словом, чего хочешь, того просишь, – сказал Высоцкий. – Ближе всего, конечно, было бы отнести нашего подсудимого к улемам-юристам и истолочь его в ступе. Но, во-первых, он еще преплохой юрист, во-вторых, у нас нет тут под рукой ступки на его несуразный рост, а в-третьих, мы – судьи праведные и милостивые. Все мы здесь в чернилах рождены, концом пера вскормлены. Чего же проще присудить его – испить чашу хоть и не яда, то чернил во здравие свое и наше.

– Чего лучше? Так тому и быть! – одобрили со смехом окружающие судьи.

– А вот кстати и чернила, – подхватил Григоров, самый отпетый школьник.

Вскочив со своего табурета, он достал с ближайшего окна полную чернильницу и поднес ее осужденному:

– Пожалуйста, герр барон...

– Помилуйте, господа... – пролепетал Риттер. – Ведь вы же это не всерьез!

– Как не всерьез! Подержите-ка его, господа, чтобы не очень кобенился, а я его угощу.

Розы на цветущих щеках барончика поблекли до белизны лилий.

– Простите, господа! – слезно уже взмолился он. – Вы знаете ведь, какая у меня глупая натура: как только проглочу что-нибудь противное, так сию же минуту...

– Фридрих Великий на сцену? – досказал Высоцкий. – Да, в этом прелести мало. Простить его разве на сей раз за его глупую натуру?

– Если он попросит прощения как следует, на коленях, – заметил Гоголь.

– Вот это так. На колени, барончик! Ну, чего ждешь еще? На колени!

Что поделаешь с неумолимыми? Бедняга опустился на колени.

– Не будешь вперед?

– Не буду...

– Ну, Бог простит. В утешение могу сообщить тебе приятную новость: нынче на лекции у нас Никольский даже похвалил нам тебя.

– Правда? – усомнился Риттер, неизбалованный похвалами профессоров.

– Что такое правда, что ложь? Если я, например, дураку говорю, что он осел, то это правда или ложь?

– Но это, кажется, уже личности!

– Ну вот, по своей глупой натуре принял опять на свой счет! Мало ли, брат, и без тебя ослов на свете? Но что ты не из последних – это видно из похвалы Никольского!

– А что же он сказал про меня?

– Да вот, когда один из нашей братии – кто – история умалчивает – понес чепуху, Парфений Иванович и говорит ему: «У вас, почтеннейший, голова набита тем же мусором, что у Риттера». Чем не похвала? С выпускным поравнялся! Ну, а теперь марш опять в коридор и не зевать!

При общем хохоте товарищей разочарованный махальный поплелся в коридор. Но едва лишь сделал он там в непроглядной темноте несколько шагов, как в отдалении блеснул свет и показался инспектор Моисеев с зажженным шандалом в руках. Риттер бросился со всех ног обратно в спальню.

– Кирилл Абрамович!

Как сонм ночных привидений при первом крике петуха, вся разместившаяся вокруг Базили молодежь сорвалась с насиженных мест и разлетелась по своим кроватям. Лампа мгновенно потухла. Обошлось дело, разумеется, не без шума, который не мог ускользнуть от чуткого слуха молодого инспектора. Но Кирилл Абрамович, как человек деликатный, не торопился накрыть ослушников, предпочитавших болтовню ночному отдыху, и певучим скрипом своих модных козловых сапог как бы нарочно еще предупреждал их о своем приближении. Вошел он сперва в спальню младшего возраста, между кроватями действительно уже спавших мальчиков проследовал далее к среднему возрасту, а оттуда и в опочивальню господ студентов. Не замедляя шагов и не озираясь по сторонам, он на цыпочках направился прямо к выходной двери и – скрылся. Свет шандала в коридоре постепенно померк, скрипучие шаги удалились и наконец совсем стихли.

– Восстаньте все! – раздалась команда.

Лампа тотчас вспыхнула с прежнею яркостью, и та же аудитория скучилась около рассказчика, увеличившись еще одним слушателем – Риттером, с которого сложена была теперь обязанность караульного.

– Позорное убийство нашего патриарха совершилось без протеста со стороны запуганных греков, – приступил снова к своему повествованию Базили, – и это было как бы сигналом для турецкой черни – ни одному уже греку не давали пощады. Предводительствуемые дервишами тысячи этих фанатиков рыскали по греческому кварталу, грабили наши дома и церкви, истязали, убивали взрослых и детей. Кто только мог – спасался бегством на иностранных кораблях. Мой отец не имел личных врагов среди благонамеренных турок. Напротив, у него было между ними немало доброжелателей. И вот однажды, недели две спустя после казни патриарха, отцу встретился на улице почтенного вида турок, который служил у одного из его сановных благожелателей. Турок хотел было незаметно прошмыгнуть мимо. Но отец дружелюбно, как всегда, окликнул его: «Как поживаете?» (буквально же: «как кейфует эффенди?»). Тому ничего не оставалось, как приложить руку к губам, ко лбу и отвечать «приветствием мира»: «Алейкюм селам»³. Но, взглянув при этом в лицо отца, он, должно быть, почувствовал жалость, потому что тихо прибавил: «Ты, приятель, что-то бледен, ты нездоров, тебе было бы полезно переменить воздух – чем скорее, тем лучше. Всего лучше даже сегодня».

– Другими словами: «Утекай, милый друг, без оглядки во все лопатки»? – заметил Высоцкий. – И отец твой, конечно, утек?

– А что же ему оставалось? Как староста патриаршей церкви, он был уже, несомненно, намечен в числе новых жертв. Охотнее всего, понятно, он поднялся бы всем домом. Но тогда на него сейчас обратилось бы внимание турецких властей. Поэтому ни с нами, детьми, ни с прислугой он даже не простился, чтобы никто из нас плачем или словом ненароком его не выдал. Матушке же он дал подробную инструкцию, как вести себя без него, и сам сжег еще все бумаги, которые могли бы нас скомпрометировать. Затем наскоро переоделся, помолился и распрощался с женою.

– Легко себе представить, каково им было этак расставаться, не зная, увидятся ли еще когда! Но куда же он отправился?

– А ваш русский посланник, барон Строганов, давно уже был к нам хорошо расположен. К нему-то в Перу отец и пробрался окольными путями, откровенно рассказал ему о своем безвыходном положении и просил принять нас, семью его, под свое покровительство. Строганов успокоил отца на наш счет и предложил ему свою собственную шлюпку, чтобы переплыть Босфор. Так-то отец беспрепятственно перебрался на другой берег и причалил к первому ино-

³ По преданию мусульман, Магомет после первой встречи своей с архангелом Израфилом слышал в воздухе над собою радостные ликования: «Приветствие мира тебе, о, Пророк Аллаха!» Поэтому «приветствия мира» мусульмане удостоивают обыкновенно только своих единоверцев, из гяуров же – самых уважаемых.

странному судну, уже поднявшему паруса. То был итальянский бриг, возвращавшийся в Триест. Через несколько дней отец был в Триесте, а еще через месяц сухим путем и в Одессе, где застал уже нас с матушкой.

– А! Так к тому времени и вы успели уже бежать из столицы четвероногих и двуногих собак?

– Успели, да. Но что мы там без него перетерпели – и вспоминать жутко! Едва лишь он тогда черным ходом выбрался из дома, как с парадного крыльца к нам нагрянули турецкие чоходары и потребовали хозяина. Матушка вышла к ним и объявила, что муж ушел, дескать, по какому-то нужному челу, но скоро вернется. Не веря ей, они принялись обыскивать весь дом. По счастью, никто из нас прочих не знал о бегстве отца, и потому на все их расспросы мы отвечали просто и прямо. Это пока спасло нас. Турки с угрозами удалились.

– А Строганов между тем также не дремал?

– Да. На другой же день он известил матушку, что мужу ее удалось уплыть в Триест, и предложил приютить нас у себя, покуда и для нас не найдется корабля. Но турецкая полиция стерегла нас: около нашего дома взад и вперед шныряли два чауша и зорко поглядывали на наши окна и двери. В то же время неистовства черни над христианами в городе не прекращались. День и ночь доносились к нам с улицы отчаянные крики. Выйти туда – значило рисковать головой. И мы с самыми верными слугами замкнулись на запор в каменной части дома, а на ночь спускались еще в подземелье, где под низкими сводами было хоть и душно, но безопасно.

– Ну, а саблю-то свою ты взял, конечно, тоже с собою? – спросил Гоголь.

– Взял, еще бы. Это было ребячество, согласен, но вполне простительное: я был ведь старшим мужчиной в семье, а стало быть, и защитником матушки и прочей мелюзги: младший братишка был еще грудной младенец. На всякий случай, мы со вторым братом, который был всего одним годом меня моложе, смастерили себе и пики – преострые...

– Вот так хватать! И что же, турки после этого, конечно, не посмели уже подступиться к вам?

Базили, будто не слыша, оставил замечание без ответа.

– С неделю по отъезде отца, – продолжал он, – барон Строганов прислал матушке записку, что корабль для нас найден и что через час уже мы должны быть на пристани Мумхане. Крепя сердце пришлось оставить в руках турок весь дом...

– Эх-ма! Целого дома и то, пожалуй, в карман не упрячешь. Но парочку мягких турецких диванчиков ты напрасно все-таки не захватил с собой под мышки: вместе бы здесь на них покойфовали.

– Вечно ты, Яновский, со своим вздором! – укорил остряка один из товарищей.

– Да, брат Яновский, – вздохнул Базили. – Не испытал ты, что значит – навсегда покинуть дом, в котором ты родился и вырос, покинуть на полное разграбление!.. Тихомолком, поодиночке выбираясь оттуда, все мы плакали. Чтобы несколько хоть утешить наших двух маленьких сестричек, матушка позволила им взять с собой по кукле. Малютку-братца она поручила няне. Сама она несла шкатулку с фамильными бриллиантами, а мне, как старшему из детей, дала нести другую шкатулку – с золотом. И она нам очень пригодилась.

– Как не пригодиться! – вставил опять Гоголь.

– Пригодилась, но только для того, чтобы очистить нам дорогу до пристани. На полпути туда махушка заметила, что за нами следит издали один из чаушей, приставленных к нашему дому. «Мы пропали! – ахнула она. – Нас сейчас арестуют!» – «А вы дайте ему золота», – посоветовала няня, и я, отстав от них, сунул чаушу несколько червонцев. Но он уже увидел, что шкатулка моя полна червонцами, и глаза его жадно разгорелись. «Давай-ка сюда всю штуку», – сказал он и без церемоний отнял у меня шкатулку. Я стал было его умолять оставить нам хоть немножко на дорогу, но он наотрез отказал, так как у него, дескать, есть жена и дети, да придется еще поделиться с товарищем.

– Но с какой стати этому каналье было пускаться еще с тобою в длинные объяснения?

– Видно, боялся тоже ответственности перед своим начальством за подкуп. Вернее было поладить с нами полюбовно. Но при этом он предупредил нас, что дает нам срок всего полчаса. К тому времени начальство уже будет знать о нашем побеге. Не найдут нас – наше счастье, а найдут – просит не пенять.

– Тоже рыцарь в своем роде, хоть и не без страха и упрека! А шкатулку с бриллиантами у матушки твоей, значит, не отнял?

– Нет, она успела спрятать ее под свое покрывало. На пристани нас ждало уже несколько почетных франков (как называют там всех европейцев), которые на одном ионическом корабле отъезжали только что в Одессу. Под их-то прикрытием мы благополучно взойшли на корабль. Но в Черное море суда пропускаются не иначе как с осмотром паспортов всех пассажиров, а матушка второпях не успела запастись никаким документом. Поэтому, когда корабль наш двинулся вверх по проливу, шкипер пригласил всю нашу семью в трюм, где наскоро приготовил для нас тайное убежище. Но, Бог ты мой, что это было за ужасное помещение!

– Назвался груздем – полезай в кузов, – сказал Высоцкий. – Впрочем, ведь на этих эмигрантских кораблях, слышал я, устраивалась нарочно двойная обшивка в трюме, за которую могла укрыться не одна сотня беглецов. А вас ведь было всего несколько душ?

– То-то вот, что очень немногие корабли были таким образом приспособлены. Большинство же шкиперов прятало эмигрантов просто в ямах, вырытых в балласте и накрытых сверху досками, либо в пустых бочках, поставленных между полными бочками с вином.

– И вас рассадили тоже по бочкам?

– Хуже того: груз корабля состоял из турецкого табака, и нас втиснули между табачными тюками, где нам целых два часа пришлось дышать одуряющей табачной атмосферой.

– Благодарю покорно! Подпустили же вам «гусара», нечего сказать! И неужели никто из вас не выдал себя, не расчихался?

– Мы все, постарше, зажали себе рты и носы платками. Но малютка-братишка раскашлялся и запищал. Турецкие чиновники на палубе слышали его и принялись еще усерднее обшаривать весь корабль. Шкиперу стоило немалого красноречия убедить их, что то пищит котенок, которого он завел для мышей.

– Так что вас и не нашли?

– Благодаря Бога, нет. Но эти два часа в табачном смраде в постоянном страхе, что вот-вот найдут и казнят без суда и расправы, стоили, можно сказать, двух веков мучений дантова ада, и, только сойдя на берег в Одессе, мы опять вздохнули полной грудью... Вот вам, господа, и вся моя одиссея.

– А в Одессе вы где же приютились? Верно, у земляков?

– Да, у дальних родственников. Семейные бриллианты пришлось, разумеется, понемногу сбыть, потому что, кроме одной пары платья, в которой мы бежали, у нас ничего не осталось, а все имущество наше в Константинополе, движимое и недвижимое, было конфисковано в султанскую казну. Из богачей мы обратились чуть не в нищих. Ну да Господь с ним, с этим богатством! Если мне чего жаль, так отцовской библиотеки. Каких-каких там не было редчайших книг. Но свет не без добрых людей: и в Одессе нашелся эмигрант-этерист, ученый профессор Геннадий, который взял меня в науку, и в течение одного года, что я пробыл в Одессе, я еще основательнее познакомился с родной классической литературой.

– «Науки юношей питают», – сказал Гоголь, – хотя на твоей жидкой комплекции, Базилиэфенди, этого покуда не очень-то заметно. Господа! В честь благородного эфенди не устроить ли нам в воскресенье маленькую пирушку? Сам я, как вы знаете, до них вовсе не охотник, но нельзя же не покормить беднягу? Иван Семенович ради экстренного случая, я уверен, даст нам разрешение.

Предложение было принято с большим сочувствием, а Базили, явно растроганный, крепко пожал руку Гоголю, подавшему мысль.

– Вы не поверите, господа, как я рад, – сказал он, – что достиг наконец у вас мирной гавани, где, надеюсь, судьба избавит меня уже от всяких дальнейших мытарств.

Надежда, однако, его обманула: на другое же утро как снежная лавина на него обрушилась совершенно непредвиденная напасть.

Глава пятая

Казус Базили – Андрущенко

Мы уже говорили (в первой повести о Гоголе), что преподавание языков в нежинской гимназии шло независимо от разделения воспитанников по классам: последних было девять, тогда как для языков имелось всего шесть отделений, пройти которые до конца не было притом обязательно. Так и в новом учебном году вступительная лекция по латинской словесности у профессора Семена Матвеевича Андрущенко была предназначена не исключительно для студентов первого курса, а и для воспитанников выше и ниже их, которые дошли до пятого отделения латинистов – пиитов. Гоголь и Данилевский добрались только до звания риторов и, собственно, не имели бы права сидеть на этой лекции с товарищами-пиитами. Но так как у риторов в этот час не было другого урока то директор Орлай попросил профессора допустить их также на свою лекцию: чему-нибудь де все-таки научатся.

Как все вообще знатоки той или другой науки, Андрущенко придавал своему предмету также первостепенную важность. Сегодня он взошел на кафедру с особенно торжественной осанкой и, выжидая, пока молодежь разместится по скамьям, постучал по кафедре костлявым пальцем.

– Совсем капельмейстер: оркестру Знак подает, – заметил Гоголь Данилевскому, неторопливо протискиваясь к нему на заднюю скамейку. – Бьюсь об заклад, что нарочитое слово приготовил.

– *Quous que tandem, Catilina?*⁴ – прозвучал глубокий баритон профессора, и из-под сдвинутых бровей недовольный взор его на минуту приковался к замешкавшемуся «Катилине» – Гоголю.

Затем, когда все кругом стихло, он заговорил с малороссийским мягким придыханием на «г» и семинарским оканьем, четко отчеканивая слово за словом:

– Благословясь, приступаем. Большинство из присутствующих здесь принято ныне в лоно *almae matris* – университетской науки и, как избранные сосуды оной, допускается к восприятию тончайшего нектара римской поэзии Вергилия и Горация, а в свое время и к здоровой, питательной амброзии величайшего оратора всех веков и народов Цицерона. *Varietas delectat*. Разнообразие забавляет. Но, *eo ipso* – само собою, вы, государи мои, должны добровольно отрешиться от прежних школярных замашек, наипаче же от всех низменных вожделений невежественной черни. С Горацием каждый из вас отныне может воскликнуть:

Odi profanum vulgus et arceo:
Favete linguis...
Темную чернь отвергаю с презреньем:
Внемлите напевам...⁵

– *Favete lingvis*, – донеслось эхом с третьей скамьи, да так неожиданно, что все сидевшие впереди оглянулись.

– Это кто? – спросил профессор, снова насупясь. – Вы что ли, Яновский?

– Я, Семен Матвеевич, – с самую простодушною миной признался Гоголь. – По вашему же призыву.

⁴ «Доколе наконец, Катилина?» (*лат.*) Начало речи Цицерона «Против Катилины». Гневное восклицание, требующее положить конец беззаконию, несправедливости и т. п.

⁵ Перевод А. Фета.

– Но вы-то как раз не призваны с другими восклицать так, ибо, как ритор, не доросли до Горация еще. Знаете ли вы, по крайней мере, что означает сие восклицание?

– Favete lingvis?⁶ Знаю: «Не любо – не слушай» или: «Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами».

– И держались бы сего мудрого правила.

– Да пирога-то с грибами у меня теперь, увы, не имеется.

– Все тот же школяр! – возмутился профессор. – Брали бы пример хоть с Базили: он еще хоть и гимназист, а право, достойнее вас быть студентом.

– Я, Семен Матвеевич, тоже студент, – счел нужным тут подать голос Базили, сидевший на первой скамейке рядом с Божко прямо против кафедры профессора. – Я переведен в седьмой класс.

– Переведены? Из пятого да в седьмой?

– Да-с. Я и прежде ведь переходил таким образом через класс.

– И напрасно, совершенно напрасно! Что за баловство? Когда же вас перевели?

– Летом.

– Но я вас не экзаменовал!

– Это сделал за вашим отсутствием такой же латинист – Иван Семенович, хотя, в сущности, не было в том надобности, – возразил Базили, видимо, начиная волноваться. – Я из вашего предмета и без того уже был зачислен в ритори. По другим же наукам меня экзаменовали сами профессора, и доказательства тому должны быть, Семен Матвеевич, в ваших собственных руках: к вам, как к ученому секретарю конференции, поступают ведь все ведомости наши, и если бы вы только потрудились справиться...

Судя по некоторому замешательству в нахмуренных чертах Андрущенко, ему вдруг припомнилось что-то. Но он коротко остановил говорящего:

– Будет! Терпеть не могу, когда мне этак возражают!..

Темные глаза молодого грека засверкали огнем оскорбленной гордости.

– И я тоже! – невольно вырвалось у него. Но он тут же спохватился: – Виноват, Семен Матвеевич! У нас, греков, горячая кровь, сейчас в голову бросается...

Профессор с вышины кафедры молча оглядел оправдывающегося пронизывающим взором. Но вспышка юноши привела в себя зрелого мужа, и, развернув лежавший перед ним на кафедре общий журнал седьмого класса, он стал водить по строкам ногтем, как бы ища чего-то, а затем сдержанно-глухо промолвил:

– Буде вас перевели в седьмой класс, фамилия ваша значилась бы в журнале. Так?

– Так...

– Фамилии здесь выставлены в алфавитном порядке. На литеру «Азь» никого не имеется. На литеру же «Буки» показаны только двое: Божко Андрей и Бороздин Яков. Засим следуют уже Гоголь-Яновский, Григоров и так далее. Почему же вашей милости нет тут, позвольте узнать?

На лбу Базили выступили капли холодного пота; вся кровь отлила у него к сердцу, и, бледный, растерянный, он судорожно схватился руками за край парты, как бы боясь упасть.

– Что меня не внесли в журнал, – во всяком случае не моя, а чужая вина... – пробормотал он побелевшими дрожащими губами, и красивые черты его исказились злобою отчаяния. – Я выдержал экзамен – и меня обязаны перевести...

– Га! Вас обязаны перевести? – подхватил Андрущенко, терпение которого также наконец истошилось, и звонко хлопнул ладонью по журналу. – Это еще бабушка надвое сказала! А за ваши неуместные препирательства с профессором не угодно ли вам к печке прогуляться?

– Я не пойду, Семен Матвеевич.

⁶ Буквально «lingud» – язык.

– Что-о-о?

– Я – студент.

– Покамест-то вы еще гимназист. Пожалуйте.

– Иди, брат, ну что тебе значит? Всю будущность себе ведь испортишь, – шепотом урезонивал непокорного сосед своего Божко.

– Не могу, Семен Матвеевич, как хотите... Позвольте уже лучше уйти из класса? Мне нездоровится...

Вид у него, в самом деле, был очень расстроенный и возбужденный.

– Ступайте, – нехотя разрешил профессор и взглянул на часы. – Из-за вас вот, пожалуй, и вступительного слова не окончишь!

Надо ли говорить, что молодые слушатели не были особенно внимательны к «вступительному слову», которое, впрочем, было закончено как раз к звонку, возвестившему первую пятиминутную перемену. Когда теперь воспитанники всех возрастов высыпали в коридор, «казус Базили – Андрущенко» разнесся кругом с быстротой молнии. Дух товарищества пробудился даже в тех, которые мало знали Базили. Все считали себя как бы обиженными в нем, хотя самого Базили не было налицо: он куда-то пропал.

– Нельзя ли немножечко потише, господа! – деликатно увещевал инспектор Моисеев, проталкиваясь сквозь плотную группу студентов, запрудившую коридор.

– Да не спросить ли нам мнения Кирилла Абрамовича? – предложил один из студентов. – Он ведь и мухи не обидит...

– Мухи-то не обидит, – возразил Гоголь, – но зато и не помешает всякой мушкарке кусать нас до крови. Коль к кому уже обращаться, так к Орлаю: муж нарочито мудрый и к убогим зело милостивый.

– Это так. Орлай Орлаич – всем птицам царь. Да вон он, кстати, сам и вместе с Базили.

– Но куда же я пока денусь, Иван Семенович? – со слезами в голосе говорил Базили директору, который вел упирающегося за руку к товарищам. – В седьмой класс меня не хотят пустить, а в шестой... в шестой я и сам теперь не пойду.

Иван Семенович успокоительно обнял его вокруг плеч.

– Patientia, amice⁷. Сейчас виден аристократик: синяя кровь заговорила.

– Не синяя, а человеческая: я хотя и маленький еще человек, но имею уже гонор. Не сами ли вы мне тогда объявили, что я выдержал по всем предметам?..

– Bene, bene!⁸ В большую перемену я нарочно созову конференцию, и тогда, полагаю, все уладится ко всеобщему удовольствию.

– На вас вся надежда, Иван Семенович. Бога ради, не выдайте его! – заговорили напереыв студенты, обступившие гурьбою обоих.

– Разве я когда-либо кого-либо из вас выдал? Но мой единственный голос все же не решающий. Посему до времени вы, Константин Михайлович, потерпите: ступайте себе в «музей», что ли, и займитесь чем-нибудь. А вам, други мои, пора и на лекцию: вон Казимир Варфоломеевич уже вошел в класс.

– Что у вас нынче за базар, господа? – спросил профессор Шаполинский шумно врывающихся в класс студентов.

– Виют витры, виют буйни,
Аж деревья гнутся, —

отвечал Гоголь. – Один из нас заколен, как агнец неповинный.

⁷ Терпенье, друг! (лат.)

⁸ Ладно, ладно! (лат.)

– Заколен? Надеюсь, только фигурально?

– Фигурально, но не менее смертельно: его не хотят перевести в наш класс, хотя он великолепно сдал экзамен.

– Про кого вы говорите?

– Про Базили. Вы сами же ведь, Казимир Варфоломеевич, слышно, готовили его летом по математике и притом даже даром? За что вам великое от всех нас спасибо...

– О таких вещах умалчивают, мой милый. Так его, стало быть, не переводят? Гм! Странно, очень странно... Но верно ли это? Надо будет узнать еще у Семена Матвеевича, как у секретаря конференции.

– Да он-то ведь и противится! Сейчас вот только говорили об этом с Иваном Семеновичем, просили его заступничества.

– И что же Иван Семенович?

– Обещался не выдать. Но и вы, Казимир Варфоломеевич, со своей стороны на конференции замолвите слово доброе. Нельзя же, право, этак ни с того ни с сего губить человека!

– Уж и губить! – усмехнулся Казимир Варфоломеевич, но около губ его легла горькая складка и глаза его озабоченно потупились. – Базили, я знаю, не из тех людей, которые гибнут при первой неудаче. Но молчать я, поверьте мне, не буду!

Что он действительно не молчал – приятели Базили могли убедиться вскоре, именно в большую рекреацию, когда весь учебно-воспитательный персонал замкнулся в конференц-зале: из-за двери между спорящими голосами громче всех выделялся густой бас Шаполинского. Когда же наконец с шумом распахнулась дверь, то первую показалась оттуда грузная фигура его же, Шаполинского, с опущенною долу, но пылающею головой. Молодые люди тотчас заступили ему дорогу.

– Ну что, Казимир Варфоломеевич?

Не взглядывая, словно виноватый перед ними, он в сердцах только рукой отмахнулся.

– Неужели провалили?

– Провалили... – хрипло пропыхтел добряк: от горячего спора не только его в пот вогнало, но и в горле у него, видно, пересохло.

– Так зачем же, в таком случае, его вообще допустили к экзамену? И многие, скажите, были еще против него?

– Все это, друзья мои, вопросы праздные: дело решено безапелляционно!

– Но Иван-то Семенович был, конечно, на вашей стороне?

– Само собой, но мы остались в меньшинстве. Пропустите-ка меня, друзья мои...

Он был до того разогорчен и взволнован, что грешно было его долее задерживать. Но сами студенты на том не успокоились.

Гоголь, обыкновенно равнодушный к товарищеским делам, на этот раз кипятился не менее других.

– Это черт знает что такое! – восклицал он. – Оставить это так никак нельзя! Не пешки же мы безгласные! Пойти сейчас всем курсом...

– Всем курсом неудобно: похоже на бунт, – возражали более умеренные. – Лучше выбрать депутацию.

– Но кого? Двух первых из нас, против которых начальство ничего уже иметь не может: Божко и Маркова.

– Я не прочь, – сказал Марков.

– И я тоже, – отозвался Божко. – Но может ли такое заявление с нашей стороны иметь хоть малейший успех? Поставьте себя, господа, на место членов конференции: судили-рядили они, и вдруг депутация от учащих, которые хотят быть судьями в собственном деле? Примут ли вообще таких депутатов? Перевершат ли решенное уже раз дело? Я полагаю, что нет.

– Нет, нет!.. Да, да!.. Нет!.. – раздалось кругом противоречивые мнения.

Мнение Божко в конце концов, однако, взяло верх, и депутация не состоялась.

Таким образом, Базили был вновь водворен в к своим прежним товарищам-гимназистам в шестой класс. Но со следующего же дня он перестал ходить туда: от острой раны, нанесенной его крайне чувствительному самолюбию, у бедняги разлилась желчь, и его должны были отправить в лазарет.

Глава шестая

Нежинская муза пробуждается

После Данилевского и Высоцкого с Гоголем ближе всего сошелся Прокопович, который хотя и был теперь ниже его одним классом, но сохранил к нему дружескую привязанность с первого года их пребывания в гимназии, когда они мальчуганами сидели еще рядышком на одной скамейке. В силу этой-то привязанности Прокопович однажды в большую рекреацию отвел Гоголя в сторону и сообщил ему под секретом, что одноклассник его, Прокоповича, Кукольник сочинил нечто совсем замечательное – чуть не целую поэму.

– Ого-го! Куда метнул! Так-таки целую поэму? – усомнился Гоголь, который не особенно долюбивал Кукольника, избалованного своими успехами у начальства и в обществе и потому «задиравшего нос». – Впрочем, он у вас в классе по всем предметам ведь первая скрипка, бренчит также на фортепьянах, так как же не бренчать и на самодельных гусях!

Стрень-брень, гусельцы,
Золотые струнушки.

– Но я говорю же тебе, что у него готова настоящая поэма! – уверял Прокопович. – Он собирается прочесть ее тесному кружку знатоков литературы...

– Экие счастливы, ей-Богу! Кто же эти знатоки у нас?

– Да хоть бы Редкий и Тарновский.

– М-да! Выпускные студенты – так как же не знатоки? А нас-то, грешных, обходят!

– Напротив. Когда я объяснил Нестору, что без тебя состав ценителей был бы не полон, он нарочно поручил мне зондировать: есть ли у тебя вообще охота его послушать?

– Хорошо же ты зондируешь! – усмехнулся Гоголь, польщенный, однако, вниманием поэта. – Так прямо с кочергой и лезешь. Что ж он сам-то не явился?

– Да язык у тебя, голубчик, что бритва: режет без разбора и правого, и виноватого.

– Ну, не без разбора, а по мере надобности.

– Что же сказать ему от тебя?

– Что я глубоко тронут незаслуженною честью. А когда и где он собирается читать?

– Да нынче же, после классов, в эрмитаже. «Эрмитажем» прозвали воспитанники большую дерновую скамейку, на днях только сооруженную их же руками в более отдаленной половине казенного сада, в так называемом графском саду. Последний был отгорожен от гимназического сада бревенчатым забором. Но калитка в заборе давно уже не запиралась, и воспитанники двух старших возрастов беспрепятственно пользовались графским садом, чтобы вдали от начальнического взора по душе поболтать, а также и покурить, так как в стенах гимназии курение табака было строго воспрещено. (Кстати, впрочем, упомянем здесь, что Гоголь, равнодушный ко всяким вообще развлечениям, кроме театра, никогда в жизни также не курил.)

И вот в свободный час перед вечерним чаем в «эрмитаже» собрались избранные Кукольником «ценители» новейшего его стихотворного опыта. В числе их оказался и Риттер.

– А! Барончик Доримончик! Какими судьбами? – удивился Гоголь. —

Кто ты, о юноша, чтоб о богах судить?

Иль не страшишься ты их ярость возбудить?⁹

⁹ Из «Эдипа в Афинах» В. Озерова.

– Мишель по части стихотворений тоже не безгрешен, – покровительственно отвечал за барончика Кукольник, – хотя виршей его доселе не узрело еще ни единое смертное око. А теперь, государи мои, не дозволите ли мне начать, ибо времени у нас очень мало. Как вам небезызвестно, одна из самых капитальных поэм Гете – «Торквато Тассо». Тягаться с таким гигантом, как Гете, правда, великая продерзость, но пример гениев заразителен даже для пигмеев, буде в них теплится хоть искра Прометеева огня. Не ожидайте от меня ничего законченного, цельного. Это только слабая попытка – огнем моего собственного вдохновения осветить могучий образ соррентинского певца. Это – фрагмент, отрывочная фантазия, из которой сам еще не ведаю, что выльется: поэма или драма. Начинается пьеса с возвращения Тасса к замужней сестре своей в Сорренто...

– После изгнания его от двора феррарского герцога Альфонса д'Эсте? – спросил Редкин, самый начитанный из товарищей.

– О да. Многие годы перед тем уже скитался он бездомным бродягой по белу свету, перетерпел всякие невзгоды, голод и холод, имел даже приступы помешательства. Сестра его, Корнелия Серсале, успела не только сделаться матерью четырех детей, но и схоронить мужа. И вот в то самое время, когда малютки Корнелии сидят в доме с няней и просят рассказать им сказку, на пороге появляется какой-то мрачного вида оборванец-простолюдин. «Кто это? – говорит няня. – Что тебе угодно?» – «Здесь ли Корнелия Серсале?» – «Здесь. А что?» – «Мне нужно видиться». – «Пошла к вечерне. Сейчас придет. Ты сядь и отдохни». Усталый, он садится у дверей. «Как тихо здесь! – говорит Тасс, потому что то был он. – Чьи эти малютки?» – «Корнелии Серсале». – «Боже правый! Она уж мать, и четырех детей, а я еще на свете – сирота». – «Ты не женат?» – любопытствует няня. «Не знаю». – «Как не знаешь?» Он рассказывает, что был связан высшими узами с неземным созданием – Славой, но что она улетела. Няня недоумевает: «Такого имени я не слыхала! Ты, верно, иностранец?» – «Да! – вздыхает Тасс. – И две у меня отчизны». – «Как две?» – «В одной мое родилось тело, в другой – душа». Няня в смущении отходит к детям и на вопрос их: «Кто это?» – отвечает: «Сумасшедший!» Те в страхе прижимаются к няне. Тут входит сама Корнелия, и Тасс, неузнанный сестрою, подает ей письмо. Она читает и заливается слезами. Брат, растроганный, ее обнимает:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.